

СУДНЫЙ ГОД



ГРИГОРИЙ МАРК

Григорий Марк

Судный год

Серия «Городская проза»

Текст предоставлен правообладателем

<https://litres.ru/63450063>

Судный год / Марк Григорий: АСТ; Москва; 2021

ISBN 978-5-17-134274-6

Аннотация

<p>Главный герой бывший гражданин СССР, живущий в Бостоне, попадает в сложную, практически криминальную ситуацию: его обвиняют в преследовании женщины, хотя преследованию со стороны американского закона и таинственных незнакомцев, кажется, подвергается он сам. Однако в это же время в его жизни возникает страстная, романтическая любовь...</p>

Содержание

Пролог. Поминки-отвальная	4
1. Синяя птица	15
2. Ядовитая повестка. Первое исчезновение Спринтера	22
3. Муниципальный суд. Хождение по помпрокам. Лиз	34
4. Разговор на улице с бостонской дамой	44
5. Старичок-констебль с новой повесткой	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Григорий Марк

Судный год

Пролог. Поминки-отвальная

(Медное озеро, недалеко от Ленинграда, 18 июня 1985 года)

Слишком многое связывает... Неразорванная пуповина... И вместо того, чтобы думать о будущем, я, Ответчик, снова возвращаюсь в прошлое... Время останавливается и начинает очень быстро лететь назад и вверх, к самой высшей точке моей первой жизни. Когда до конца ее оставалось всего три недели. К лужайке на берегу Медного озера.

Идти от шоссе пришлось больше получаса. Шли, нагруженные бутылками, раздвигая густой частокол лучей, по прозрачному редколесью среди белобрсых лопухов, хвощей, крапивы и невысоких кустов, трепещущих молоденькими листьями. После длинной городской зимы ощущая всем телом их клейкую пьянящую силу. Веселые стайки танцующих бликов путались под ногами.

Дорожка петляла среди нарядных берез, гордо выпячивавших свои стволы, туго запеленутые берестяными грамотами с письменами новой весны. На которые мы не обра-

щали никакого внимания. Потом вдоль подернутой свечением речки, которая плавно струилась по черным солнечным камушкам. Обнимала блескучими излучинами валуны, обросшие мхом, расцветала бело-зелеными кувшинками в заводях. И журчанье речки слышалось прерывистой речью – маленькой, захлебывающейся речью, – совсем недавно воскресшей из зимней спячки воды. Словно ей не терпелось рассказать, пробормотать хоть частичку того, что пережила в ледяной тюрьме за эту ужасную зиму, и теперь вот наконец появились слушатели. Но они ее не замечали. А на другом берегу, отвечая ей, переливались серебристой россыпью далекие птичьи голоса.

Спринтер, как всегда, вырвался впереди всей команды, лихо сбивая палкой папоротники и лопухи по краям тропинки и напевая что-то мужественное из Высоцкого.

Аня, женщина моего брата – а всего полтора года назад моя женщина, – с лицом, татуированным тенями листьев, и я брели в самом конце, не разговаривая друг с другом. За неделю до этого в игре, где ставкой была вся моя жизнь, после двух самых трудных своих лет получил наконец при новой раздаче единственную выигрышную карту. Называлась она очень даже скромно: виза выездная обыкновенная. Но уж обыкновенного-то в ней ничего не было... За все эти два года даже с работы не выкинули. Жил с открытыми глазами и при этом кантовался дуриком у себя в Электронмаше. Отсадили в отдельную комнату, никаких заданий не давали

и запретили разговаривать с другими сотрудниками. Получал себе отказ за отказом. И, когда был уже на грани полного нервного истощения – еще немного и совсем бы дошел, – неожиданно выпустили... Тогда я собирался ехать в Израиль...

Изредка я заглядывал в подурневшее, осунувшееся лицо Ани. Их общая со Спринтером жизнь росла уже, наверное, месяцев шесть внутри ее. Невестка на сносях. С неподвижной ладонью на довольно заметном животе. (Наверное, в это время Андрюша бил изнутри?) Последняя и самая важная победа моего брата в нашем вечном соревновании-войне. Да и теперь-то встретились только потому, что были уверены – больше никогда не встретимся.

Еще до того, как уеду, она выйдет за брата замуж. (Может, потому, что тот часто разговаривал с ней в постели. Хотя и говорить-то, я уверен, им было не о чем. Но Спринтера хлебом не корми...) Пройдет почти пять лет, пока мы с ней встретимся снова... Впрочем, в это утро никто, кроме меня, о будущем не думал.

Расположились на лужайке, окруженной невысокими кустами, возле озера. Бурая кромка пены сверкала веселым утренним солнцем. Вдоль берега в темной воде вились коряги, ветви, стволы деревьев, по которым пробегала рябь, плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без весел покачивалась между тучами в зыбком купорос-

ном зеркале, и над ней, как одноглавый герб несуществующей страны, впечатанный в толщу балтийского неба, парила, распластав свои крылья, неподвижная синяя птица. И казалось, что на ее длинном черном хвосте проступали какие-то цифры.

Старая парализованная осина – я помнил ее с прошлого года, – калека с черной кожей и искривленным позвоночником, радостно зашелестела нам навстречу живой половиной, затряслась патлатой головой со свернутыми в трубочки темными листьями-бигуди. Где-то ее внутри прятался маленький ветер. Каждым выжившим листиком она молила потрогать, погладить. В старости деревьям тоже не хватает теплоты. Но я, Ответчик, был слишком погружен в себя.

Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Жужжащие обручи мошкары появились над головами. Уселась, неторопливо раскуривая в ладонях предстоящее молчание. И делали вид, что все как обычно. А моя неуклюжая к ним благодарность смешивалась с беззаботным нетерпением. Нетерпением перед тем, что наступит всего через несколько дней. Так, наверное, в последний момент перед тем, как отдать Богу душу, верующие, забывая о прошлом, ожидают вступления в подлинную жизнь.

Вокруг окропленные солнцем кусты, чуть похрустывая скрюченными узлами, лениво расправляли набухавшие тяжелыми соками ветки, выдавливали из себя зеленые ворсистые узелки почек. Промерзшая чернота, накопившаяся в

капиллярах, перепонках, волокнах за длинную зиму, высветлялась, проступала наружу тугими припухлостями. Метались в клевере пригретые солнышком деловитые мухи, шмели.

Аня ничего этого не замечала. Добрый дух совсем недавно оживших кустов, молодой неумный ветер, густо пересыпанный треском кустарника, участливо суетился около нее. Она сидела, запрокинув голову и сосредоточенно прищурившись, точно пыталась навести на резкость застывшие в зеленых глазах слезы. Легко шевелились волосы от ветра. И с каждой минутой ребенок, которого я не должен был никогда увидеть, маленькими толчками рос в ее теле. Над головою ее на невидимых нитях качались, извиваясь, нежные бледные гусеницы. Цветная паутина переливалась в прозрачных крыльях стрекоз. В траве, только что расщепившейся на миллионы травинок, в каждой из которых дышала проснувшаяся земля, в желтых чашечках ромашек, между узорчатых теней ветвей таял, сворачивался в крохотные радуги необычайно чистый утренний свет, еще не полностью отделившийся от тьмы.

Чьи-то огромные красные руки бросали хворост в огонь, с ворчливым кряхтеньем ворочавшийся с боку на бок. Оторванные ветром искрящиеся куски пламени хлопали над костром. И видно было, как подбираются к расстеленной на траве клеенке ветвистые тени в развевающихся дымных одеждах, как подминают они на своем пути белые лепест-

ки ромашек, переплетенные запахи вереска, клевера и гнили болотной. Как беззвучно качаются они в синем мареве сигаретного дыма, смешанного с дымом костра.

Тостов никто не произносил. Просто молчали, осененные прозрачным листовным ликованием, неспешно стекающим с кустов в траву. Когда долго глядишь на огонь, говорить не хочется. Пили, не чокаясь, – кто вино, кто коньяк – из граненых стаканов, смотрели в костер, словно что-то очень важное в нем сейчас догорало, превращалось в никому не нужную золу.

Они почти ничего не знали о том, как я жил, подвешенный за ребро, уже почти два года. Тогда еще никто из них не думал об отъезде. (Странно сознавать, что троих уже нет на этом свете сегодня.) Не знали они ничего о поправке Джексона. О подпольных встречах с иностранными корреспондентами. Не имели никакого представления о фольклоре отказников. Все это было впереди для них. Но хорошо понимали: то, что со мной через пару недель произойдет, обратить назад уже будет нельзя. Время, общее для них и для меня, заканчивается. И даже Спринтер сидел сейчас, опустив глаза, возле Ани совершенно растерянный. Скрюченная лапа осины лежала у него на плече. Казалось, он произносит длинную безмолвную речь-оправдание перед тем, как проститься со своим уезжающим в другой мир братом-близнецом, а парализованная осина пытается его успокоить.

Я быстро оглянулся по сторонам – и, точно острым на-

пильником, себе по душе полоснул тугой воспаленною нежностью почек, покачивавшихся на ветках... Не так-то легко будет привыкать к новой стране...

Ветер весело носился по лужайке, раскачивал еле слышное птичье пение, перемешивал блики и радуги в росистой траве. Перемешивал запутавшиеся между веток обрывки неба, края приплясывавших листьев, просвечивавших кровеносной белизной. Для них белокровие болезнью не было. Контуры каждого листочка тщательно прорисованы и обведены – нижняя часть обведена даже с нажимом – жирной солнечной тушью. Махонький обрывок ветра, усыпанный острыми искрами, парил над костром. Искры легко касались друг дружки, замирали и снова разбегались, будто играли в свои сверкающие багровые пятнашки. Усатые бабочки, стрекозы, мотыльки, ошалевшие от разлитого вокруг солнца, чинно рассевшись по веткам, наблюдали за игрой.

И я, по горло увязший во всех этих шелестах, красках, запахах, знал, знал всем своим существом, что это надо запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных с красными прожилками крыльев бабочек, аккуратно сложенных кверху. Не придумывая ни единого кружка, прочерченного золотыми чернилами на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей сейчас по моему рукаву. Запомнить, как выглядят на траве тени ветвей парализованной осины – подрагивающие иероглифы ее прощального послания. Как гладит она тысячу скрюченных листьев располованное солнцем небо у

меня над головой. Запомнить, как звучат эти невнятные слова, слова расставания на языке деревьев, певучем изводе карельского леса, в котором только одни гласные. Чтобы потом, в совсем другой стране, звучание это можно было оживить.

Мое тело находилось здесь вместе с друзьями, с братом, с беременной чужим ребенком женщиной, среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве на берегу тихо мреющего в утреннем свете озера. А сам я, стайер, отбившийся от стаи, отбившийся от своей первой жизни, поднимался, восходил в горы, которых не было, над нижним краем небосвода. И веселая кровь билась в висках.

Тень, становившаяся все короче, забегала вперед, останавливалась, терлась об увязавшийся за мною ветер – теперь он был явно в мою сторону – и опять суетливо петляла под ногами. А ветер, вдруг ставший пронзительным и холодным, все толкал и толкал в спину.

Наконец достиг перевала. Там, где начиналось небо, далеко на юге приоткрылась полость в тучах, из которой исходили косые лучи. Она медленно расширялась, и, в первый раз за последние два года вдыхая полной грудью разреженный горный воздух, я уже видел внутри ее ребристое море багровой черепицы. В нем покачивались маленькие тарелки антенн, короткие черточки кирпичных труб с вьющимся из них белым дымом, аккуратные двухэтажные домики, выпирающие купола синагог и церквей, холмы, проступающие

друг сквозь друга, переплетающиеся сотней незнакомых мелодий.

... достигнув перевала, продолжай восхождение... к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего... в пустыне пути приготовьте... и время жизни моей пошло...

Я, стайер, бежавший всю дистанцию вместе с теми, кто сидел сейчас внизу около костра, вырвался вперед на финишной прямой.

Между тем еще одна тень появилась у меня – длинная тень, неожиданно выросшая за спиной. Она упрямо цеплялась за камни, тянула назад и быстро росла. Горячий свет из будущего сталкивался, переплетался с обманным светом озера, по которому плыли серебристые отражения. И столб из двух перекрученных светов превращался в гигантский гриб с гофрированной ножкой. Он поднимал стремительно и бесшумно сгрудившиеся каменные тучи с промоинами ярко-синего неба. Выгибал, выдавливал кверху низкое небо. Горизонт сворачивался в спираль, и в центре ее находился я сам. Все, что я видел, было связано теперь единым ритмом, прерывистым ритмом моего длинного дыхания, раздвигающего голосовые связки. Ускользящим и проступающим снова, всеобъемлющим ритмом моей начинающейся новой жизни.

Заставил себя оглянуться. Поле зрения опять сфокусировалось в маленькую лужайку на берегу озера посреди бес-

конечного зеленого кружева. В разлившемся, шелестящем-*листвии*, в самой его глубине вездесущий ветер, успевший протянуться сквозь две моих жизни, оторвал кусочек огня и весело чиркнул им по траве. Сигнальный костер для спускающегося с неба парашютиста? И тогда сквозь впервые за много лет набежавшие слезы – от дыма? от того, что никогда больше не увижу ни одного из них, сидящих здесь, внизу? – я снова разглядел посреди блеклых кустов красно-белый квадратик клеенки, мерцающий строй изумрудных бутылок. Затерянный в тускло-зеленом, словно подсвеченном, море травы утлый кораблик-карасс своих друзей, близнеца-брата, Аню, себя самого и свое новое одиночество. Одиночество, которое, как побитая собака, крутилось рядом, доверчиво и виновато заглядывая в глаза друзьям. И белое пламя костра билось на ветру между нами. *(Все расстающиеся говорят торжественно, как во хмелю...)* Разглядел, чтобы никогда не забыть, фигуры близких – тех, кто остаются в России, и тех, кто уехал давно, – неподвижно сидевших с искрящимися обрубками мошкеры над головой и с поднятыми вверх гранеными стаканами. Их родные лица было уже не разобрать, но я знал, что они сейчас справляют поминки, поминки по мне, Гришке Маркману, под заунывную песню комаров и салют пылающих веток на берегу Медного озера. И я, будто ведра с водой из глубины колодца, одно за другим неторопливо вытягиваю из себя, выплескиваю наружу тяжелые слова прощания. А вокруг молчат единственные близкие мне люди.

Свет, последний свет моей предыдущей жизни, понемногу из них уходит. Уезжать мне надо было любой ценой. И цена в два года не казалась слишком высокой. Но вот то, что их больше не увижу...

Лужайка с застывшими возле костра людьми становится такой маленькой, что вся уже целиком легко умещается теперь в памяти.

Когда-то отплывавшие за границу эмигранты брали на корабль огромные клубки красной пряжи. Родственники, оставшиеся на берегу, держали концы этих нитей, и связь продолжалась, подпрыгивали еще клубки, нити еще подрагивали, когда они уже давно не видели друг друга, и пространство вместе с пряжей разматывалось между ними. И все, что их еще связывало, превращалось в эту тоненькую нить. Мой клубок почти весь размотан. Мокрая, туго натянутая в море травы нить между мною, Ответчиком, и Спринтером, нить, которая двадцать пять лет прочно связывала нас, начинает тихонько звенеть от ветра. Еще один шаг – и конец ее оборвется в руках у меня.

1. Синяя птица

(Бостон, 22–23 октября 1991 года)

Сегодня Лиз задержалась у меня намного дольше обычного. Ричард в суде. Кого-то там обвиняет. Мы сидим в постели, и вокруг нас тонкое кружево пропитанного любовью запаха, выстелившее всю спальню. Моя блаженная «сигарета после». Маленькие вещи, которые становятся частью очень важного. Уже появляется свой ритуал. До сих пор еще осторожно знакомимся друг с другом. Рассказываем, рассказываем о себе.

– Летом мы жили целый месяц у бабушки на Кейп-Коде. У них дом там прямо на берегу океана. По вечерам, когда мужчины отправлялись в бар, у нее собирались подруги. Играли в карты или уже поздно ночью устраивали спиритические сеансы. – Лиз вздыхает, словно медленно нанизывает слова на невидимую ниточку своего дыханья. И кажется, что душа ее – маленький серебристый зверек – выглянула на миг из зрачков, быстро оглядела меня и сразу спряталась снова. – Бабушка к этому относилась серьезно и сердилась, когда мама или отец пытались шутить. За несколько месяцев до этого умер Джейкоб, ее муж, который был священником сведенборгианской церкви здесь, в Бостоне. И она никак не могла с этим смириться. После смерти Джейкоба отношения

его с бабушкой стали еще более близкими. Меня туда, конечно же, не пускали, и на все мои вопросы она не отвечала. Вот ты представь, мне ведь всего двенадцать, а здесь люди, уже много чего испытавшие в жизни. Старые, короче говоря, люди. И они не должны были бы играть ни в какие игры, как мы, дети. А они словно бы играют. Играют молча и совсем серьезно. Сидят эти дамы с высокими прическами на высоких стульях – у бабушки в доме все вообще было старым и солидным, пахло там тоже как-то особенно, – сидят они в темноте с закрытыми глазами. Лица торжественные, бледные. Брови упрямо сведены. Положив свои наманикюренные пальцы на специальный прибор, который был у них для этого дела. Доска Уиджа. Я иногда подглядывала, но даже смотреть было страшно. На следующий год бабушки не стало... А я, знаешь? Хотела понять, кого эти старухи дурили? Самих себя? До сих пор не понимаю... Думала даже сама попробовать. Но все не с кем было... Потом читала Метерлинка, Сведенборга...

Удивительно, сколько суеверий до сих пор живет в семьях высоколобых новоанглийских браминов. Наверное, они и в телепатию верят, и в колдунов-целителей, и в ясновидение. И еще много во что...

Судя по тому, как быстро она мигает, Лиз о чем-то лихорадочно думает сейчас. Наверное, все еще вспоминает полутемную террасу со старухами, которые, широко раздвинув руки, медленно двигают длинными белыми пальцами по све-

тящуся диску. Я осторожно закрываю рукой ее лицо. Ресницы мягко трепещут в ладони. И в этот момент мне в голову приходит мысль, которая может ей понравиться.

– Слушай, а хочешь прямо сейчас вот попробуем? – Она нерешительно улыбается, и это вдохновляет. – Чего-нибудь нового узнаем с того света? Одевайся. Пока ты раздета, у нас точно ничего не получится. Буду отвлекаться.

Взял в кабинете большой лист картона, написал по кругу английские буквы и арабские цифры. Положил вверх дном блюдце и сделал фломастером на нем риску. И вот уже мы напротив друг друга за столом в темной кухне. Положив пальцы на блюдце, ждем.

Лиз сидит совсем неподвижно и не обращает на меня внимания. (Неужели она относится ко всему этому серьезно? Я же хотел только...) Продолжается это уже довольно долго и начинает надоедать.

Но вдруг блюдце начинает подрагивать, а потом медленно вращаться! Никогда бы не поверил, но ведь собственными глазами вижу! Риска стоит у В. Хватаю карандаш, записываю и снова кладу пальцы на блюдце. Теперь риска движется гораздо быстрее. Следующая буква – L. Когда блюдце наконец полностью останавливается, будто наткнувшись на границу чего-то запретного, у меня записано BLUEBIRD21273448089...¹ Что еще за синяя птица? Бред какой-то!

¹ Blue bird – «синяя птица» (англ.)

– Давай еще раз! – Может, она меня разыгрывает и незаметно управляет блюдцем?

Снова в точности то же самое: BLUEBIRD2127344 8089! Совсем удивительно! Я бы почувствовал, если бы она делала это нарочно. Когда включил свет и показал две полностью совпадающие записи, она явно испугалась. Да и я тоже, честно говоря, был сбит с толку.

– Все! Не хочу больше этими глупостями заниматься! – Сбросила картон на пол и встала. – Это нехорошо!

Подошла к зеркалу, сдула упрямую прядь. Глаза, окаймленные тушью, стали неподвижными, задумчивыми. Чужая женщина, которая глядит на нее, кажется гораздо старше, гораздо решительнее, чем Лиз. Замечает, что я тоже рассматриваю ее, и проводит ладонью по поверхности. Встряхивает головой, рассыпая вокруг каштановое сияние, поворачивается ко мне. Быстро чмокает в щеку и убегает.

Уже больше часа верчусь в постели среди запахов Лиз, перекладываю холодной стороной подушку под пылающую щеку и злюсь, что никак не удастся уснуть.

Город за окном все глубже погружается в мокрую темноту. Перед глазами снова всплывает сквозь дождь кусок картона и синяя птица BLUEBIRD, на хвосте которой, изгибаясь, переливаются десять цифр: 21273448089. Отчетливо вижу каждую из них. И тут я вспоминаю, что 212 это код Нью-Йорка! Это может быть просто номер телефона! Хотел немедленно бежать и звонить. Но двенадцать ночи. Мало то-

го, что история совершенно нелепая, так еще будить кого-то. Уж точно посреди ночи разговаривать не станут.

Утром не выдержал и все-таки позвонил.

– Але-е? – старенький, немного прерывающийся женский голос.

– Извините, пожалуйста. Меня зовут Грегори. Пожалуйста, не вешайте сразу трубку. Я хотел только задать вам один вопрос...

– Какой вопрос, Грегори? – Мне показалось, что она несколько не удивлена, даже ждала этого звонка.

– Понимаете, мы вчера развлекались...

– Рада за вас... Я вот давно уже... И какое отношение ваши развлечения имеют ко мне?

– Ну, знаете, вертели блюдце в темноте и записывали буквы и цифры, возле которых оно останавливалось.

– И что? – старушечий голос немного напрягся.

Я чувствую себя полным идиотом, но бросать разговор на середине не хочется.

– Понимаете, сначала появились буквы B-L-U-E-B-I-R-D, bluebird, а потом десять цифр. И это повторилось два раза. А цифры совпали с вашим номером телефона. Ну я и решил...

Тяжелое молчание на другом конце. Трубка переполняется захлебывающимися, перебивающими друг друга вздохами, неразборчивыми бормотаниями, всхлипываниями. Это длится минут пять, не меньше. Я уже хотел вешать трубку.

Наконец снова появляется ее уже гораздо более уверенный голос.

– Это Норман, мой муж! Наверное, не мог раньше... Ведь я там играла Мэтил!

Она произносит это имя по-английски – «Мэтил», и я не сразу понимаю, о чем речь.

– Кого вы играли?

– Я играла Мэтил! На Бродвее ставили «Синюю птицу», и я была занята в этом спектакле! В главной роли. Там мы познакомились с Норманом! Он приходил каждый день, дарил цветы! А через полгода поженились, но вскоре разразилась война! – Она делает паузу и громко сморкается. – Ах! Господи! Что я вам все это рассказываю! Вы, наверное, из какой-то другой страны, у вас такой сильный акцент! Норман писал письма с фронта, и каждое письмо начиналось «Моя драгоценная синяя птица».

– Вы меня, пожалуйста, извините...

– За что? Я знаю, что это он! Слава Богу, молодой человек, что вы догадались позвонить! Я вам так благодарна!.. На прошлой неделе он ушел. Рак легких... И мы договорились... Я так скучала по нему, так ужасно скучала! Каждый вечер просила Бога, чтобы дал встретиться, хотя бы во сне! Хоть на минуту!.. И вот наконец вы... Никогда не сомневалась, что так и будет!.. Видно, пора уже собираться... – На секунду мне кажется, что все это она произносит уж слишком легко, но я тут же прогоняю эту недостойную мысль. –

Молодой человек, вы должны дать слово. Никто не должен знать о нашем разговоре. От этого зависит моя жизнь. То, что от нее осталось... Вы обещаете?

– Ну конечно, – бормочу я, уже совершенно обалдевший.

– И пожалуйста, никогда больше не звоните по этому телефону! Я вас прошу... Извините, сейчас мне трудно говорить. Еще раз спасибо! Вы не представляете, как много вы сделали для меня.

Я продолжаю сидеть, держа в руке гудящую телефонную трубку. Тупо смотрю на нее и пытаюсь понять, что произошло... Мозг работает на полных оборотах, но вхолостую...

Миллионами маленьких сосущих ртов хрипит, задыхается за окном цветной ливень, мечет громы и молнии на притихший город... Ощущение чего-то очень тяжелого и очень неприятного на душе. И почему-то огромная усталость... Пока ничего не прояснилось, Лиз об этом разговоре говорить не буду. Еще начнет думать, что у меня не в порядке с головой.

На следующий день страшно хотелось позвонить снова вдове Нормана. Но ведь дал слово. Да и нельзя же столько мучить, как видно, совсем старую незнакомую женщину. Для нее шок был намного сильнее, чем для меня... Наверное, есть какое-то простое объяснение.

2. Ядовитая повестка. Первое исчезновение Спринтера

*(Ленинград, 10 января 1973 года;
Бостон, 13 сентября 1991 года)*

Утро, как это часто бывало последнее время, началось с судороги. Пока протирал глаза, свело ногу. Боль была неожиданно сильная и длилась, наверное, больше минуты. Уже одно это очень не понравилось. Но утренняя раздача неудач на этом не закончилась. Через полчаса, разбирая почту, я увидел мутно-серую бумажку.

Восемнадцать лет назад у нас в коммуналке на Чайковского отец рассматривал возле окна в точности такую же. Проверк, над ним моя фамилия и дата. Всего несколько неразборчивых строчек. Рукописные буквы, как скрепки, загибаются внутрь самих себя. Нижний край присыпан мелким пепитом, и в самом низу официальная закорючка. Отец обнаружил ее на комодe в коридоре, под расколотым зеркалом, где на кружевной салфетке оставляли почту для жильцов. (Кроме нас, в квартире жило еще пять семей.) Синий прямоугольный штамп в верхнем углу страницы, которую я, Ответчик, только что вытащил из памяти, и сейчас отец ее испуганно изучает.

Херувимом к моменту своего пресловутого побега Спринтер давно уже не был. За два дня до этого он украл деньги у отца из бумажника, когда тот спал. Проспорил трешку Витьке Денисову, и надо было отдавать. Спринтер тогда непрерывно с кем-то спорил. Обычно на деньги. Бумажник был во внутреннем кармане пиджака, висевшего на стуле рядом с кроватью. Но оказалось, что отец спал не так уж крепко. Когда Спринтер попытался положить бумажник на место, отец, не разжимая век, внезапно схватил, притянул к себе и врезал ему по морде. Раньше ни меня, ни Спринтера он не бил никогда. В ту же ночь Спринтер убежал из дома. Его первый фальстарт.

К концу следующего дня родители успели обзвонить все отделения милиции в Ленинграде и области, все больницы и все морги. Олег Маркман четырнадцати лет к ним не поступал.

Сейчас, когда вспоминаю свое детство, блуждаю вслепую в извилистых закоулках нашей общей со Спринтером памяти, чаще всего наталкиваюсь там на драки и скандалы. Дрались мы с братом, а скандалили из-за нас все вокруг: родители друг с другом, директор школы с отцом, соседи – с мамой. Картины нашего детства мало напоминали щедрую цветами живопись в Эрмитаже. В мою память они врезались как черно-белая графика или даже гравюры – скрежещущим острием по металлу.

Дрались мы непрерывно – во время уроков и особенно после школы, – но при этом оба умудрялись оставаться отличниками. Еще когда нам по двенадцать лет было, отец объяснил, что иначе с нашей фамилией в университет даже на мехмат бы не взяли. А уж на ядерную физику, о которой мы тогда мечтали, и подавно... Так что деваться было некуда...

Наша борьба началась, наверное, еще у мамы в животе. Отец потом рассказывал, что она промучилась тяжелой беременностью семь с половиной месяцев и наконец разрешилась крошечными синюшными близнецами, которые еще целый год остервенело сосали грудь, захлебываясь молоком. Торопились как можно скорее получить свою долю и прихватить еще от другого.

Мы со Спринтером зеркальные близнецы. Я правша, а Спринтер – левша. У меня родинка на левой щеке, у Спринтера – на правой. У меня левая ноздря больше правой, у него наоборот. Считалось, что он родился на полчаса раньше. (Может, именно тогда, в те полчаса, когда я в первый раз остался один и отчаянно пытался вырваться на свет вслед за братом, и возникла моя проклятая Клаустрофобия? Большой Клауст, который с того времени всегда где-то рядом.) Имена нам дали на второй день после того, как мы родились. Отец был убежден, что нас в роддоме перепутали. Но мама в это не верила. А нам было все равно.

Жили мы с родителями в двух комнатах коммуналки старого питерского дома с гулками подъездами и заросшим

деревьями двором. До революции дом принадлежал семейству графа Толстого. Широкая парадная лестница, высокие потолки с лепниной, окна, заканчивающиеся полукругами, мраморные, точно из окаменевшего студня, подоконники. Учились мы в одном классе, влюблялись в одних и тех же девочек, играли в одних и тех же командах.

Борьба не утихала даже по ночам. Лет до восьми спали в одной кровати с провалившейся сеткой, которая терпеливо, год за годом выдерживала ожесточенные пинки, удары в живот, выкрученные руки. Иногда просыпались такими уставшими и злыми, словно и не засыпали совсем.

В драках, в прыжках в высоту через веревку, в волейболе, потом в шахматах выигрывать надо было любой ценой. Отец даже иногда подталкивал наше соперничество. Считалось, что это вырабатывает характер. Правда, была и разница между нами. Когда что-нибудь неприятное происходило с нами, мне обычно казалось, что это я во всем виноват. А брат предпочитал особо не задумываться и соглашался со мной. Обычно Спринтер побеждал, но ненадолго. Проходило несколько часов, и борьба возобновлялась с новой силой.

Впрочем, иногда наступало перемирие. Нет-нет да и скажет Спринтер: «Да, иди, если хочешь», когда предложу пойти вместо него на свидание. Но длится всегда недолго. Только с ней что-то начинает налаживаться, спринтеровское братское «да» понемногу сходит на нет. И борьба разгорается с новой силой.

Потом легкой атлетикой заниматься начали. Я на длинные дистанции бегал, а брат – на короткие. Он выложится на стометровке и сидит себе отдыхает на трибуне. С девочками болтает. Посматривает, как брат круг за кругом бежит один из последних сил по красной дорожке стадиона. Так и осталось между нами: Гришка-Стайер, а Олежка-Спринтер. И младший брат на старшего снизу смотреть не хотел.

Эти двое суток поисков были заполнены звенящей пустотой. Первый раз за всю жизнь рядом не было брата, и я не понимал, что делать, куда себя девать. Было немного страшно. Вдруг больше Спринтера вообще никогда не увижу? Может, попал под машину или под поезд? И я один теперь останусь.

Фигурки отца на подоконнике не было.

Примерно за год до своего побега Спринтер страшно увлекся лепкой. Выучился сам делать пластилин – мама звала его Олежкиной жвачкой для пальцев – из муки, соли и растительного масла. Вскоре пластилин сменился глиной. Смотрел на трепещущих танцовщиц в телевизоре и, как только кончалась программа, начинал лепить. («Целый год лепил из трепета опыт», – посмеиваясь, цитировал он потом подобранную где-то расхожую строчку.) А я с удивленным восхищением следил, как тонкие проволочки скелета обрастают податливым глиняным мясом. Брат гладил, крутил беспомощное мягкое тело на проволочном каркасе. И вот уже инкрустированная осколками зеркала пачка аккуратно при-

клеена на бедра, торчат в стороны вытянутые руки с разведенными пальцами, приподнялись над головой косички. Уже тогда поражала его дикая дотошная сосредоточенность на мельчайших деталях. Балеринка кажется огромной, хотя росту в ней всего каких-нибудь пять сантиметров. Только вдру! Спринтер ни с того ни с сего безжалостно вминает ей в лицо большой палец. Долго глядит на изуродованную мордочку и снова несколькими точными, осторожными движениями делает очень красивой. Теперь уже немного по-другому. (Наверное, ему доставляло наслаждение, что любой, самый маленький нажим оставляет на ней свой глубокий отпечаток. Что может придать ей любую форму.) Наконец, как видно добившись совпадения с несуществующим оригиналом, торжественно помешал, к моему ужасу, начинавшую оживать фигурку в духовку! Слово это человеческое жертвоприношение у индейцев. Через час вынимал длинными щипцами твердую обожженную мумию. Она занимала свое место, и ритм застывшего кордебалета краснокожих танцовщиц у нас на подоконнике еще больше убыстрялся. Но однажды весь глиняный кордебалет бесследно исчез. И на вопросы о нем Спринтер никогда не отвечал. Потом начал делать довольно точные скульптурные портреты знакомых. Но почему-то в каждом был небольшой изъян. То ноги слишком короткие, то ушей на голове совсем нет.

В день побега на пустом подоконнике стояли лишь фигурка мамы с оборванной правой рукой и, наклонившись над

ней, вдвое выше Спринтер. Никогда не мог понять: ее-то за что? Он даже позаботился, чтобы не спутали со мной: сделал себе правую ноздрю заметно крупнее левой. После его возвращения отец обе фигурки сразу же выкинул в мусор.

Я отчетливо вижу сейчас отца, стоящего возле высокого, с полукругом окна. Тень разрежала повестку по диагонали. Палец медленно вползает в темную половину. Еще секунда – и мама вырвет у него повестку. «... надлежит явиться 10 января 1973 года в 11 часов утра в 79-е отделение милиции Дзержинского района города Ленинграда по адресу: Гагаринская улица, дом 6а, комната 104. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность». После «Причина вызова» прочерк и «__» – страшный знак пробела. Все, что хотят, могут вставить.

– Яша, что это означает?! Он жив? Жив?! – заглядывает беспомощно мама к нему в лицо. Голова ее мелко трясется.

– Успокойся ты наконец. Все будет в порядке. Это ведь из милиции... Если бы, не дай Бог... – Снова всматривается в расплывшиеся чернильные буквы.

Держит он эту ядовитую повестку обеими руками, очень близко к глазам. Очки, как всегда, когда нужны, запропастились. Опускает голову и, продолжая держать повестку, начинает что-то шептать. Теперь я понимаю, что он по-своему молился.

И вот мы втроем бежим под дождем на Гагаринскую. Возле Большого Дома отец, сам того не замечая, начинает бежать еще быстрее. Мы с мамой за ним уже не успеваем. Пару раз он пытается остановить такси, но машины проносятся мимо, только обдавая ледяными брызгами.

Поднимаемся по темной заплыванной лестнице в семьдесят девятое отделение. Задолго до назначенного времени уже сидим в разделенной дубовым барьером комнате с низким, тяжело давящим на затылок потолком. За барьером молодой лейтенант с симпатичной хитринкой в опухшем лице и лихо заломленной на затылок фуражке проводил напутственный правеш голодного беглеца. Мы с родителями далеко от них. Мама, вцепившись в сумочку, не отрываясь смотрит на лейтенанта. В комнате натоплено и душно. На противоположной стене белым по истошно красному: «Твоя милиция тебя бережет!»

Сейчас, через восемнадцать лет, на другом континенте, когда пробую на язык, повторяю по слогам это знакомое с детства слово «*ми-лиц-и-я*», в нем лишь простодушное «*милое лицо*», за ним «*и*», а потом уже «*я*», но тогда лицо совсем не казалось милым.

За стеной, всего в нескольких сантиметрах, слышен расплавившийся от нестерпимой боли крик, пересыпанный нечленораздельным матом. Там избивали. Отец хотел, чтобы ожидал их на улице, но я заявил, что никуда не уйду. Было страшновато и любопытно. Много рассказов о семьдесят де-

влятом обезьяннике ходило у нас во дворе. А крик становился все более громким, все более страшным. Теперь уже не было в нем не только ничего человеческого, но даже ничего от человекообразных, которых держат в обезьяннике в клетках. Вдруг крик споткнулся, налетел на что-то очень твердое – тренированный милиционерский кулак? – и сразу затих.

Лейтенант оторвался от бумаг, со скрежетом ввинтил в пепельницу бычок, зашипевший от бессильной предсмертной злости, – вспыхнули на секунду звездочки у него на погонах – и поглядел на стену. Потом мазнул взглядом по семейству Маркман, смиренно поджидавшему в углу. Я заметил, что отец покраснел и изо всех сил напрягся, будто надеялся, что это ускорит освобождение брата. Лейтенант вздохнул и продолжал правож. Поведение Спринтера оставляло чего-то желать. Впрочем, чего именно, я так и не понял. Голос у лейтенанта уж слишком невнятный. Пересохшая речь его похожа на прерывистое кряхтенье, которое издавал кран у нас в ванной через день после того, как отключали горячую воду. Да он и знал, что не слушают. Впрочем все это наблюдения уже из будущего. Странно, насколько врезаются в память такие мелкие детали.

В первый момент, когда увидел брата, радости я совсем не почувствовал. Скорее, это было разочарование, что так быстро и заурядно кончилось.

Почему он не взял меня с собой? Даже не предупредил. Никогда не прощу! Только о себе думает!

Наверное, мама заметила мое недовольство, схватила за руку и назидательно произнесла прямо в лицо:

– Гриша, я должна быть совершенно честной с тобой. – Я уже хорошо знал, что вслед за этой фразой последует что-то очень неприятное. – Так дальше не может продолжаться. Тебе нельзя все время драться с Олежкой. Ты должен быть хорошим братом ему! Слышишь? Он и так...

Я чуть не задохнулся от несправедливости.

– Отчего это я должен быть хорошим братом, а не он! – выкрикнул давно уже выстраданную фразу. – Я ведь никуда от вас не убежал! Потому что его сильнее любите?

– Сиди спокойно! И перестань кричать! Ты же знаешь, мы любим вас обоих совершенно одинаково, – вмешивается отец.

– Я вам не верю! – В те годы соглашаться хоть в чем-нибудь с родителями было позорно. Но я действительно им тогда не верил.

– Здесь не место выяснять отношения. Не мешай работать товарищу лейтенанту. – И я, Ответчик, снова, через восемнадцать лет, ощущаю его увесистую руку у себя на плече.

Мы еще долго сидели втроем в углу темной комнаты, пропитанной тяжелым затхлым запахом мокрой одежды, бензина и рвоты, поджидая, пока лейтенант закончит оформлять бумаги. Наконец, взяв с брата честное слово, что больше никогда убежать из дома не будет, он по-доброму нам подмигнул и выдал беглеца под расписку отцу.

А потом мы, на всякий случай крепко взяв с обеих сторон брата за руки – отец справа, а я слева, мама шла позади, – молча шагали под морозящим дождем по Чайковской домой, мимо дряхлеющих старинных зданий, мимо серого куба Большого Дома. И лицо у отца было такое, что идущие на работу прохожие удивленно оглядывались.

Была ли тогда ладонь у Спринтера действительно такой холодной, или это я сам заморозил ее в памяти и сейчас пытаюсь оживить? Зачем? Чтобы завораживающий глянец первых двух дней жизни отдельно от брата, первых двух дней свободы не испортился, не потускнел?

Но уже на следующий день я мучился от нестерпимой ревности, после того как в школе на Спринтера обрушилась непререкаемая слава.

Время, незаметно описав петлю, возвращается в исходную точку. Воспоминание снова скукоживается до размеров мутно-серой повестки. Сейчас у меня в руках точно такая же. Фамилия не указана. Но уже сам цвет ее предупреждает об опасности. Через столько лет узнаю даже выпуклую шершавость казенной бумаги. Все та же беспощадная скупость юридического языка. Явиться шестнадцатого сентября не в семьдесят девятое отделение милиции, дом ба по Гагаринской улице города Ленинграда – сколько все-таки мусора хранится в памяти, – а в муниципальный суд по адресу: 24, Нью-Чардон-стрит, Бостон. И, как тогда, в детстве, совершенно невозможно понять, что эта повестка означает.

Кто-то возбудил против меня уголовное дело. О том, что его систематически преследую! Вторгаюсь в «личное пространство». (На слово privacy моего русского, выученного в советской школе, явно не хватает.) Даже не знал, что есть такая статья.

3. Муниципальный суд. Хождение по помпрокам. Лиз

(Бостон, 16 сентября 1991 года)

После длинного путешествия в стеклянной клетке лифта голова немного кружится и неприятная сухость во рту. Я небольшой любитель замкнутых пространств. Бесконечная комната на двенадцатом этаже разделена низким барьером. Совсем как в семьдесят девятом отделении милиции. Несмотря на все различие между двумя мирами, в устройстве присутственных мест есть и что-то общее. Универсальные константы преддверий карательных заведений. Только потолки здесь не такие низкие. Легче дышать. И конечно, все более организовано, отработано за четыре века новоанглийского правосудия. Еще со времен процессов над салемами колдуньями. Небольшая часть у входа – вольер для публики, а дальше, уже за барьером, в царстве закона, тянутся в столбе пыли за горизонт, к невидимому окну столы с мерцающими шеренгами экранов и уткнувшимися в них неотличимыми бледными лицами ревнителей юстиции на изогнутых выях. В синем свете мониторов лица кажутся зыбкими и болезненными. Беззвучно и терпеливо вершится в благоговейном безмолвии юридическое делопроизводство.

Возле самой границы, помеченной пунктиром мощных балясин, секретарша за столом, покрытым зеленой материей, пригнулась под тяжестью собственного бюста к экрану компьютера.

Грегори Маркман, Ответчик, молча протянул повестку. Голова раскалывается, будто всю бессонную ночь ее сверлили тупой бормашиной около виска.

Секретарша с любезно-неприветливым лицом вынула голову из монитора, прищурилась, демонстрируя профессиональную проницательность. И вдруг, совершенно забыв обо мне, вставила что-то в горизонтальную щель и несколькими движениями живущих отдельно от нее пальцев расколдовала застывший компьютер. Затем с такой силой уставилась на новую композицию иконок на экране, что файлы с шипением зашевелились в глубине. Сдавила несчастную компьютерную мышь, и у нее тут же вылез наружу единственный зеленый глазок. Наманикюренные пальцы исполнили на клавиатуре тревожно-бравурное. Удовлетворенно, как пианист после очень трудного пассажа, с закрытыми глазами откинулась на спинку кресла. Экран засыпало густым снегом, и волнение в компьютерной утробе наконец улеглось. Мышь вильнула черным хвостиком и не торопясь сама собой отползла в сторону. Секретарша шумно вздохнула. Сеанс виртуального ясновидения, как видно, принес плоды. Высоко подняла листок бумаги и поднялась над барьером, заслонив государственным бюстом весь судебный окоем. Сложная комбина-

ция духов вихрем пронеслась мимо и заполнила комнату.

– Вообще-то, дело у вас пустяковое... Но... Нет, жалобу, – еще раз пробежала листок у себя в руке и кивнула, как бы снова подтверждая, что она права, – показать не могу... Проще всего пойти к помощнику прокурора и все там выяснить. – Говорит она невнятно, не скрывая своего полного безразличия. – Он находится в здании суда графства, пять минут ходьбы отсюда...

– Действительно, чего волноваться? – безуспешно пытаюсь я обмануть самого себя. – Судебная ошибка, недоразумение. Везде бывает. Скоро все выяснится. Это мое первое знакомство с американским Законом, но отношение к нему у меня уже довольно неприязненное. Конечно, Закон этот ничего общего не имеет с советским. И все же...

«Пять минут ходьбы» обернулись часом блужданий по городским пустырям между строительных площадок.

Новенький стеклянный параллелепипед, окруженный лунными курганами и разрытой, мерцающей антрацитом землей бостонских новостроек. Имперские гранитные ступени, по которым, опровергая закон всемирного тяготения, снизу вверх течет пестрая толпа. У входа что-то минималистско-концептуальное – стальной лист Мебиуса? скрипичный ключ? двойная спираль ДНК? воплощенная в нержавеющей стали идея самодостаточности Закона? – в два человеческих роста.

Внутри цветной мрамор и гранит – цвета напоминают вкус бариевой каши; интересно, это замысел дизайнера или сам Суд через подсознание посетителей безошибочно находит свое цветовое выражение? – прямоугольные колонны с серыми капителями-хвощами, низкие металлические перегородки между ними. Мертвый свет прилепленных к стенам патрицианских светильников, как в ленинградском метро, и бесконечный ряд обитых черной искусственной кожей одинаковых дверей, похожих на вмурованные в пол могильные плиты. На каждой, словно годы жизни хозяина кабинета, большими позолоченными буквами фамилии, должности и часы приема.

Толпы озабоченных людей. Несмотря на все отличия, хореография движений явно подчинена какому-то единому сложному ритму. Ритм отлаженной за двести лет юридической машины. Наверное, никогда не пойму, как она работает. Нечего даже пытаться. Проще всего предположить, что и никто не понимает. Просто смотри и запоминай. Может, потом пригодится.

Возбужденные негры (свисающие на мощные задницы блеклые джинсы, рубашки навыпуск, белые кеды) и угрюмые низкорослые мексиканцы в куртках. Иногда – бледнолицые мужчины с блестящими брифкейсами, в темных пиджаках и галстуках. Из судейских. Крапивное семя. У этих на животах пластмассовые бирки с фотографиями и именами. Узнать, где какой начальник сидит, не у кого. Все слишком заняты

своими государственными делами. Те, что с бирками, только отмахиваются.

Наконец нахожу указатель. Офис помощника прокурора (далее в этих записках для краткости обозначается «помпрок»), комната двести тридцать восемь, второй этаж. На дверях комнаты двести тридцать восемь объявление от руки (на английском и на испанском) – помпрок находится в комнате шестьсот двадцать, шестой этаж.

В комнате шестьсот двадцать, лишенной примет так же, наверное, как и все остальные комнаты в этом здании, приветливая молодая женщина в расплывчатой одежде и со скупо прорисованной физиономией – стрелки бровей, смазанная вертикальная черта носа, бантик губ, круглая ямочка в подбородке, зрачки за мощными стеклами покачиваются, как медузы в аквариуме, – объяснила, что помпрок для удобства посетителей сидит иногда в шестьсот двадцатой, а иногда в двести тридцать восьмой, в зависимости от того, каким делом занимается. А сейчас в шестьсот двадцатой его, естественно, нет. В двести тридцать восьмой еще более приветливая секретарша сообщила, поигрывая улыбкой, что помпрок временно переехал в соседнее здание. Такой вот непоседливый помпрок.

Соседнее здание оказалось спортивным клубом. Офис помпрока на третьем этаже, прямо над бассейном (!). Чтобы важный государственный чиновник в то короткое время, когда никого не обвиняет, мог, не выходя из здания, поплес-

каться в теплой водичке для успокоения расшатанных нервов?

Минут через пятнадцать появилась секретарша помпрока, почему-то в длинном (вечернем?) платье, плотно облегающем ее тело, будто наклеенном прямо на кожу. Маникюр, дорогие браслеты на обнаженных руках. Аристократическая шея, уже немного гофрированная годовыми кольцами, с нитями крупного голубого жемчуга, легко подсвечивающего слегка надменное лицо. Победно разлетевшиеся к вискам брови. Длинные ресницы разгоняют тяжелый канцелярский воздух. Должно быть, у здешнего помпрока совсем другая клиентура. Но все равно усадить такую женщину за стол секретарши кажется недопустимым расточительством.

Рассмотреть ее мне не удастся – мешает направленный в глаза сияющий взгляд. Но впечатление, которое она производит, оказывается настолько неожиданным и настолько сильным, что я стою, позабыв, зачем пришел, и, как дурак, молча разглядываю ее.

– Вам что-то нужно? – Голос ее тоже чужероден кабинету помпрока. Она быстро перебирает бумаги на столе, и мелкие зайчики от сверкающих ногтей весело танцуют у меня в глазах.

– Да. – Больше, чем на одно это короткое словцо, самообладания сейчас не хватает. Стою, переминаясь с ноги на ногу. Только что кепку в потных ладонях не тискаю.

– Могу я вам помочь? – Она посмотрела мне в глаза немного дольше, чем того требовала секретарская вежливость.

Непонятная сила – источник ее явно вне моего тела – приводит в движение голову, и я, не отводя от нее глаз, киваю. (Она могла бы помочь, если бы улыбнулась. Не была бы такой недоступной.) И, точно услышав, она медленно улыбается и берет из моих рук повестку.

Потом Лиз часто повторяла, что влюбилась с первого взгляда. Поверить в это было трудно. Я хорошо помнил, как, мельком поглядев на меня, она начала удивленно рассматривать повестку и опять, но уже гораздо внимательнее – или это лишь показалось? – посмотрела мне в лицо. Очень благожелательно объяснила, что здесь находится помпрок графства Middlesex, а я должен поговорить с помпроком муниципального суда и надо возвращаться в здание суда, откуда я и пришел два часа назад. Я почему-то смутился и, довольно грубо вытащив у нее повестку, вышел, не поблагодарив.

Круг, как и следовало ожидать, замкнулся. На втором витке в вестибюле здания муниципального суда я заметил в нише возле окна огромную алебастровую фигуру Юриспруденции. Или это Юстиция? Покрытое желтоватой пылью ниспадающее струящееся платье. Захватанный тысячами рук подол тускло светится. Многие, наверное, пытались его приподнять. Под Юриспруденцией на низком прямоугольном

постаменте скульптура из переплетающихся бронзовых языков пламени. Очистительный (или это жертвенный?) огонь у подножия богини правосудия?

Я прохожу мимо, глубоко вдыхаю и оказываюсь в ограненной пуленепробиваемым стеклом шахте лифта, наполненной скользящими тенями. Глухой металлический лязг захлопывающейся за спиной двери. Сердце начинает гулко стучать уже где-то под горлом. Лифты оно не любит. Пытаюсь приглушить стук ладонью. На лбу, на щеках проступают крупные капли холодного пота.

На двенадцатом этаже сидит, прикрыв толстую морду рыжим кулаком, маленький хмурый чиновник в темно-синем костюме с галстуком цвета застиранной крови. Лысая наклоненная голова на уровне моей груди, ноги не достают до пола. Лицо бледное и пустое, как экран выключенного компьютера. Тусклый воздух тлеет над плоским затылком. (Если хлопнуть ладонью, тут же начнет быстро-быстро бормотать и подпрыгивать на стуле?) Наконец, головоногий гоблин разрешает себе меня заметить. Ни слова не говоря, поднимает глаза – «слша вс?», – милостиво кивает, берет измятую повестку и пропадает в пыльных недрах присутствия.

Минут через пять промелькнул было между столов, но, недоволившись, быстро исчез. Еще через пять минут снова появился, уже из коридора за моей спиной, как ни странно, в своем первоначальном виде. Выдал копию полицейского рапорта. Фамилия потерпевшей в рапорте закра-

шена непробиваемым черным цветом. Меня в ее показаниях одели во все голубое, а глаза сделали ярко-зелеными и усадили в белый микроавтобус с красной надписью «Арамарк», который каждый раз отъезжал при приближении полиции.

Длинная пауза. Отраженное в экране белое гоблинское веко равномерно мигает, заглатывая светящиеся буквы. Неожиданно густой, неразборчивый голос доносится из открытого рта.

– Пмпрка по Гргр Мркману ще не назнчли. Кгда назначт – незвстно, – тычась языком в небо и глотая, как старая пишущая машинка, гласные, бормочет государственный гоблин. Бормочет со смачным чавкающим бульканьем, словно разбухший язык зарос мокрыми волосами и трудно его ворочать. Как-то все же удается его понять. – Всго пмпрков в мнцпальном суде человек двсти (!). Могут назначть любго. Нет, кто назначт, сбщить не могу. Вам нужн двкат.

«Пмпрка по Гргр Мркману ще не назнчли. Кгда назначт – незвстно», – повторяет про себя Гргр Мркман, пытаясь угадать правильную огласовку.

– Могу я получить копию жалобы истицы?

Гоблин протыкает меня снизу насмешливым взглядом. Который, впрочем, заметного вреда не наносит.

– Бвинителнцы в тких делах могут хрнить нонимнсть... Кнчн, вас есть прв пдать прсьбу на мя клрка сда... – Опускает веки, показывая, что беседа окончена.

Пройдет очень немного времени, и Гргр Мркман нако-

нец поймет, что в переводе с новоанглийского канцелярита это безгласное бормотание всего лишь эвфемизм для одного-единственного короткого слова «нет». А пока пребываю в счастливом юридическом неведении, и все выглядит гораздо проще, чем на самом деле.

4. Разговор на улице с бостонской дамой

(Бостон, 22 сентября 1991 года)

– Ну что, как продвигается ваше дело? – весело спрашивает аристократическая секретарша из офиса помпрока графства Middlesex. – Удалось что-нибудь выяснить?

Мы встретились случайно в центре Бостона, у залитой солнцем и обрамленной синим неоном витрины какого-то большого и дорогого магазина. Впервые за последний год оказался здесь. Зернистый воздух промыт слабым раствором из уксуса и марганцовки. Лысый манекен с круглой физиономией без бровей и без рта протянул над нами неподвижную длань. Время обеденного перерыва. Толпа медленно обтекает нас с обеих сторон.

На ней узкое медово-золотистое пальто, туго перетянутое широким черным поясом и застегнутое по самую шею. Сапоги с высокими каблуками. Она чуть ниже ростом, но почему-то я гляжу на нее снизу вверх. Каштановые, с еле заметной проседью волосы в (тщательно продуманном?) беспорядке рассыпаны по плечам. Раскрасневшееся, нежно подкрашенное лицо. И пчела и бабочка одновременно. Один тихий взмах крыльев может вызвать бурю. Она об этом знает.

Ничего общего с тусклым офисным пипл-планктоном, который колышется возле нас по тротуарам.

– Не так-то просто непосвященному человеку у вас там что-либо найти!

– Это для острастки. Надо же как-то внушать священный трепет посетителям. Если снова будут проблемы, заходите ко мне в офис. Меня зовут Лиз. – Она пристально и довольно откровенно смотрит на меня.

Наконец опомнившись, я спохватываюсь:

– Грегори Маркман. Спасибо, Лиз. – Рывком вытаскиваю из синевы ее глаз свой уже глубоко увязший взгляд. – Мне действительно нужно было бы обсудить мое дело с кем-нибудь, кто работает в суде.

Между нами не меньше полуметра, но отражения наши в витрине почти касаются друг друга. Лысый манекен еле заметно подмигивает мне оттуда: давай, парень, не тушуйся!

Лиз колеблется пару секунд, перед тем как ответить. Лицо, ограниченное слева стеклянной плоскостью витрины, неподвижно, губы плотно сжаты. Но внутри – я уверен – она улыбается. Неважно, откуда я это знаю. Знаю – и все.

– Вам стоит подождать, пока назначат помощника прокурора по вашему делу. И поговорить уже с ним... Нет, это плохой совет. А вот вам хороший: как можно быстрее наймите адвоката.

– Наверное, вы правы. Видите ли, я ничего в таких вещах не понимаю.

– Судя по вашей повестке, дама подала на вас жалобу, что вы ее преследуете.

Она запомнила, что было в моей повестке. Ведь прошло целых шесть дней!

– Я даже не понимаю, кто подал жалобу!

– Вы что, сразу нескольких женщин преследуете?

– Да никого я не преследую! Это какая-то ошибка!

– А что вы делаете в свободное от преследований время?

– Работаю в одной большой компании, здесь недалеко.

Придумываю, как защищать компьютеры, чтобы те, кому не разрешено, не могли в них залезть. Как находить тех, кто по ночам рыскают в чужих компьютерах.

– Так вы вроде полицейского в виртуальной реальности?

Почему-то мне никогда в голову эта мысль не приходила.

– Скорее, помощника прокурора, заставляющего выполнять законы... Пишу программы, статьи в научные журналы. Делаю доклады на конференциях...

– Вы ни на прокурора, ни на программиста не похожи. Скорее... – Вырвавшаяся наконец наружу улыбка, которой она меня легко одарила, стоила очень многого.

Попробовать зацепить? Она ведь женщина, такая же, как другие женщины... В голове, будто клубок белья в барабане стиральной машины, с грохотом крутятся одним сплошным комом, постепенно освобождаясь от налипшей грязи, несколько вариантов. Движение останавливается. Машина вываливает всю кучу передо мной. Внимательно рассматри-

ваю каждый из них и снова отбрасываю. Выбираю первый попавшийся... Заодно и отвлечься от своих судебных дел. Она поможет разобраться с этой идиотской жалобой. У нее должны быть связи среди судейских... Попросить телефон?

Украдкой поглядываю на Лиз, пытаюсь угадать у нее по глазам, удалось ли ей, несмотря на грохот машины, все же прочесть мои нечистые мысли?

Уже два месяца, как я на отскоке. Аня вернулась в Россию еще в июле. Живу один в квартире, которую снял после ее отъезда. По природе своей я, пожалуй, человек довольно застенчивый. Но за эти месяцы вместо содранной кожи выросла иная, гораздо более толстая. И что-то новое, непонятное мне самому происходит в душе, лезет из этой кожи вон. Подсознание взбунтовалось и уже одерживает первые, хотя пока и временные победы. По ночам бдительная таможня между явью и сном стала пропускать смутные, быстро сменявшие друг друга сексуальные фантазии, настоянные на двухмесячном одиночестве. Фантазии были явно моего собственного производства. Киноэкран к ним отношения не имел. И сейчас я вдруг осознал, что женщины, участвовавшие в них, – все они были слегка старше меня, может, это от какой-то глубинной неуверенности в себе? – оказались удивительно похожими на Лиз. Те же ярко-синие, словно налитые небом продолговатые озера, глаза, на дне которых покачиваются в радужной оболочке лучащиеся во все стороны льдинки зрачков. Чуть наметившиеся складки возле рта. Тонкий, с легкой

горбинкой нос. Такое же длинное сильное тело... В постели она, я думаю, много умеет... Надо попробовать. Сама предлагает зайти. Правда, пока только в офис. Пригласить пообедать. Потом к себе. Будет не так уж трудно. Нужно сказать вслух всего пару стандартных фраз... Или нет?.. Я же ничего про нее не знаю.

И решаю, что для начала лучше предложить выпить где-нибудь чашку кофе. Но не успеваю даже произнести.

– Нет, я не могу. – Я удивленно посмотрел на нее. Кажется, не шутит. – Мне необходимо идти, – разводит она руками и тихо бормочет самой себе, жест обгоняет слова: – Ричард будет ждать...

– Ричард?

– Мой муж. Он помощник прокурора в муниципальном суде... Вас, наверное, тогда в офисе удивило, что я так была одета? – Однако! Почему эта Лиз решила, что я помню, в чем она была одета? Но, что удивительно, ведь я действительно помнил. Помнил очень хорошо. Вся она, вся ее внешность – это полное отрицание будничности. Ничего общего с тысячей женщин, которых видел в суде. – Я обычно в длинных платьях в офис не хожу. Просто мы с мужем в тот день сразу после работы должны были идти на обед.

Ну вот. Теперь знаю, что есть муж. (Новость эта немного разочаровала. Впрочем, иначе и быть не могло.) Работа его – обвинять других людей, сажать их на долгие годы в места принудительного содержания. За это ему платят серьез-

ные деньги. Муж, с которым она ходит на обеды в первоклассные рестораны. И на них надо надевать вечерние платья и драгоценности. Скорее всего, высокое начальство ожидалось. Сильные мира сего... Бабочка, уверенно и умело тянущая надежный корабль семейной жизни помощника прокурора в бурном житейском потоке... Зачем ей было это все рассказывать? Зачем вообще такой эlegantной и совсем не бедной женщине эта нелепая секретарская работа? Чтобы не сидеть дома? Может, она хочет писать роман, действие которого происходит в суде, и собирает к нему материал? И у нее лишь профессиональное любопытство?

5. Старичок-констебль с новой повесткой

(Бостон, 23 сентября 1991 года)

Четыре одинаковых сообщения на автоответчике. Кто-то немедленно должен меня увидеть. И этот кто-то появляется через пару минут после того, как захожу в квартиру.

Деликатный стук в дверь. В полутемной прихожей привычно протягиваю руку, чтобы открыть, но она попадает в холодную пустоту лестничной площадки. (Еще с тех пор, как после допросов в Большом Доме запирали в камере, когда дома, обычно держу входную дверь приоткрытой.) Внутри пустоты уже стоит человек с сумкой через плечо, только что из романа Диккенса. Уютный словоохотливый констебль с траченными жизнью, немного бабьим лицом. Белый плиссированный чепец очень бы к этому лицу подошел. Возраст благолепного дожития. Морщины глубокие, будто само время острыми граблями разрыхлило его. Осторожная лягушачья полуулыбка искусственного дружелюбия, навсегда позабытая под дородным носом, несколько прямых черных волосков из огромной бородавки на щеке, густая смесь патоки и рыбьего жира в глазах, прикрытых ошетилившимися во все стороны седыми бровями. Подрабатывает в поли-

ции доставкой повесток после ухода на пенсию. В форменной фуражке, но без формы. «Чтобы не привлекать внимания».

Он сегодня уже два раза был у меня на работе, расспрашивал, как найти мистера Маркмана, и устроил жуткий переполох среди секретарш, которые давно мучились от недостатка захватывающих событий у нас в отделе. Так что с привлечением внимания все в порядке. Сам мистер Маркман после обеда ушел на лекцию в университет и ничего об этом не знал.

– Распишитесь, пожалуйста, вот здесь. – Вручает новую повестку. Опять мутно-серую, неотличимую от предыдущей!

«Они что, делением размножаются? И эта повестка уже на завтра в десять утра! Но суд-то назначен на второе октября? Ничего не понятно! Нет, этого не должно быть!» – все это я прокричал, само собой, молча. Потом уже вслух довольно спокойно произнес:

– А в чем дело? – Вопрос звучит скорее как просьба: пожалуйста, проверьте еще раз фамилию и скажите, что ошиблись.

Но старичок лишь пожимает плечами. От его полуулыбки осталась еще половина. Объяснить что-либо не может. Или не положено ему? И кому позвонить, не знает.

Мистер Маркман колеблется. Почесывает ядовитой повесткой бровь. Еще с советских времен не люблю отдавать

бумаги, на которых есть моя подпись. Наконец неохотно расписываюсь. Голова работает в полную силу, анализирует, вычисляет, сравнивает варианты. Но логический анализ, как и раньше в СССР, когда имел дело с законом, не помогает. Слишком темно в местном саду расходящихся юридических тропинок.

– Вам понадобится защитник. Вот, возьмите. – Констебль протягивает визитную карточку. Степенно проводит двумя указательными пальцами под носом, поглаживая несуществующие усы. – Моя дочка Джессика Каллахан. Один из лучших адвокатов в Бостоне. Наверное, самый лучший. Поверьте, говорю не потому, что я ее отец. Недавно она выиграла дело против ЭфБиАй одного студента из Саудовской Аравии, обвиненного в принадлежности к террористической организации. Победить в суде ЭфБиАй по делу о терроризме до этого в Бостоне еще никому не удавалось...

Я уже раза три довольно откровенно смотрел на часы. Сказать мне нечего, да и говорить не хочется, но оборвать так и не завязавшийся разговор никак не удастся. Уходить констебль явно не собирается. Как видно, все свои дела на сегодня закончил. Теперь неплохо было бы поболтать с человеком, у которого такой нелепый акцент и столько книг на полках. С любопытством рассматривает мистера Маркмана. (Может, ожидал увидеть кого-то с рогами и хвостом? Или застреленного чернокнижника-еврея, чудом вырвавшегося из

империи зла?) Форменная фуражка с синей тульей и красным околышем уверенно разлеглась среди наваленных бумаг. Потный запах, идущий от ее изнанки, словно прозрачный дым, стелется над столом. Поигрывая пальцами по коreshкам, вестник правосудия ласково глядит на хозяина из-под седых бровей и объясняет, что согласно букве закона должен был вручить повестку сегодня и обязательно под роспись.

Интересно, как выглядит буква закона в английском алфавите? Однобокая J или повернутая в противоположную сторону L? (Justice? Law?) В кириллице она должна бы быть философской уравновешенной Ф, как весы в руке у Фемиды, а на деле, конечно, всегда была тупо оскаленным, убийственным кириллицыным знаком Ы. Распальцовка на русском языке жестов. Стой, падла, глаза выколю!.. *Убивает буква, но дух животворит.* Еще тогда знали! А мы до сих пор...

Куда, кому звонить, чтобы понять, ну хоть что-нибудь понять про все эти сыплющиеся с неба одна за одной повестки? (Мысли, гладкие и круглые, будто бильярдные шары, катаются в черепной коробке. С глухим стуком наталкиваются друг на друга, отскакивают в разные стороны, не оставляя следа. Я пытаюсь сосредоточиться. С каждым ударом дело мое начинает выглядеть все более серьезным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.